

Алексей Глухов. **Политика неперевода и логики власти**

(Выступление на конференции «Непереводимость в философии и культуре», МГУ, Москва, 26.04.11)

Сформулирую исходный тезис:¹

Перевод не является философской проблемой. (Т1, «логика репрезентации»)

Против профессионального разграничения занятий философа и переводчика возражает дружный хор весьма авторитетных мнений. Этот хор многоязыкий: в нем различима важная линия континентальной мысли, а нам легко услышать и русские голоса.² Именно в эпоху советского «высокого перевода» Деррида провозглашает перевод критерием философской работы. Возникает противоположный тезис:

вопрос деконструкции <т.е. вопрос философии> от начала до конца есть ... **вопрос перевода.**³ (Т2, «логика различия»)

Защита этого тезиса своеобразная. Эти слова Деррида пишет в ответ на просьбу японского переводчика, объяснить, что такое деконструкция. Приводимое автором объяснение настолько *не* помогает, что Деррида с готовностью признает поражение:

невозможная "задача переводчика" ... вот что [такое] ... "деконструкция".

Второй тезис предлагается сразу в связке с «негативностью»:

Перевод – главное дело философа. Это дело невозможное. (Т2, негативный)

Неужели Деррида совсем не волнует судьба перевода собственных текстов? Напротив, очень волнует, настолько, что он прибегает к услугам юриста, чтобы запретить американскую публикацию своего интервью о Хайдеггере.⁴ Американцам достается и цитируемом тексте: они трактуют деконструкцию как оригинальный метод интерпретации, искажая ее смысл. Пусть так, но на что рассчитывает автор, не способный внятно объяснить смысл ключевого понятия своему переводчику? Разгадка в названии текста - это «Письмо к японскому другу». Слово «друг» объясняет все: примерно тогда же Деррида начинает цикл семинаров «Политика дружбы», а чуть позже публикует одноименную книгу. Дружба - это политическая тема эпохи, как в Советском Союзе, так и во Франции. Речь идет о неформализованных «интенсивных» сообществах, для которых подобрано много имен, большинство из которых апофатические: «непроизводящие», «неописуемые», наконец, «непереводимые» сообщества; у нас это диссиденты в широком смысле, то есть «отступники», не желавшие встраиваться в заданные структуры. Любые заданные структуры власти, не только партийные, несут угрозу. Пример переводческого провала для Деррида - превращение деконструкции в техническую и

методологическую «метафору», в «науку», в университетских и культурных кругах Америки. Провал уже в том, что деконструкция становится элементом институциональной машины. Деррида и его коллеги, размышления которых он сводит под рубрикой «логики различия» (Хайдеггер, Делез, Фуко), усматривают опасность не только в государственных институциях, но и в образе мысли, в основе которого - логика бесконечной репрезентации. Различие не оппонирует, но избегает репрезентации, в основе которой закон исключенного третьего.⁵ Поэтому на просьбу прояснить «деконструкцию» Деррида отвечает переводчику более чем щедро:

Чем деконструкция не является? — да всем! Что такое деконструкция? — да ничто!

Единственное, чем Деррида в своей логике мог помочь переводчику, он честно выполнил, обратившись к нему: «Дорогой друг!» Дело переводчика характеризуется той же невозможностью, что и дружба. Вопрос перевода решается не содержанием письма, но его адресатом и обращением: «о мой, друг» - этот вокатив становится лейтмотивом размышлений Деррида о политике дружбы. Удачный перевод – проявление дружбы. **Перевести значит обрести друга.**

Письмо Деррида, в котором опасность, грозящая переводу, едва упоминается⁶, заставляет вспомнить еще один хрестоматийный сюжет - хайдеггеровский текст «Из диалога о языке между японцем и спрашивающим» (1953/54)⁷. Здесь опасность, грозящая переводу, указывается смелее, потому что этот диалог не сдерживает себя рамками дружбы. С виду невзрачный эпитет «спрашивающий», которым описывается автор текста, Хайдеггер, - это тень субверсивного и полемического вопроса из «Бытия и времени». Диалог с японцем - послевоенный. Война кончилась, но надежда на дружбу еще слаба в атмосфере тотального предательства, пронизывающего сам язык.⁸ Хайдеггер отказывается в этом тексте от знаменитой формулы: «Язык - дом бытия». Она подводит и предает: дом - ведь тоже структура власти, содержащая язык в заключении: «диалог между домами оказывается почти невозможным». Диалог, переводимость невыразимого, тайны, от одного собеседника к другому, - вот забота философа. Но диалог - странное платоновское слово в устах Хайдеггера, лидера постницшеанской антиплатонической волны. Платонизм для постницшеанцев – главное имя угрозы для искомой переводимости тайны. Тем удивительнее наблюдать, как Хайдеггер причудливо *касается* платонизма в своем диалоге. Этот хайдеггеровский текст - апология философа, которую многие от него не дождались в иной форме; апология, сравнимая с «апологией Платона» - VII платоновским письмом, адресаты которого по совпадению также жители одного заморского острова. Хайдеггер стилизует себя как герменевта

(понимаемого не просто как толмача-переводчика, но как «носителя вести») и задает правило прочтения своей биографии с красноречивыми стыками, выносящими за скобки компрометирующие моменты, которые странным образом оказываются одновременно самыми платоническими. От своих ранних размышлений о языке Хайдеггер перескакивает сразу на десятилетия вперед, но при этом с календарной точностью университетского расписания - прямо в летний семестр 1934 года на курс под названием «Логика». Этот курс запомнился не только Хайдеггеру, на первом занятии был аншлаг: это было едва ли не первое официальное выступление Хайдеггера после политического фиаско - отставки с поста ректора. Публике хотелось политического скандала, но ее ожидала логика. Ажиотаж быстро схлынул, вернее Хайдеггер его умело нейтрализовал.

В этом хайдеггеровском умении (как это назвать: искусство, техника?) произвольно переключаться с логики на политику и обратно таится загадка. В «логиках различия» политика и логика принципиально не могут быть разграничены дисциплинарно: всё - политика, всё - логика, поскольку всё - текст. Политика - это особый этос, критическая интеллектуальная позиция, радикальная художественная акция, наконец, сама логика различий, в которой все эти типы политизации обретают естественный язык для самовыражения и самоистолкования, благодаря чему совершенно, казалось бы, разнородные и неперевоаемые элементы режима настоящего вдруг становятся общим делом. Официальная политика не признает внесистемную оппозицию, а этаблированная художественная среда - акции радикальной арт-группы. Но в логике различий – выступление на митинге и арт-проект - становятся элементами общего языка, возникает легкая, мгновенная схватываемость, **сверхпереводимость** несвязанных между собой событий. **Непереводимое в формальной логике метафизической или политической репрезентации оказывается сверхпереводимым в логике различий.** Задача перевода, торжественно провозглашенная невозможной, становится подозрительно легким делом. Казалось бы, логично изменить второй тезис:

Сверхпереводимость – вот дело философа. (T2, позитивный)

Но неожиданным препятствием для понимания удивительной переводческой ситуации, в которую нас увлекают логики различий, становятся исторические обстоятельства становления самих этих логик. Поздняя, послевоенная, фаза производит если не натуральную внутреннюю репрессию, то по крайней мере искусственную маскировку или забвение возникающей легкости перевода. Часть вины можно переложить на Хайдеггера, который, стилизуя себя как герменевта, –

не просто переводчика, а вестника бога, – делает вид, что язык, о котором он размышляет после войны, уже не имеет политического эффекта. Но проблема не сводится к персоналиям. Она часть обширного историко-политического ландшафта. Например, сдвиг от репрессии перевода к абсолютной переводимости легко представляется в терминах революционного переворота: сословные лингвистические преграды рушатся; упраздняется особый язык элиты, условный «французский»; возникает общегражданская речь, в которой на равных правах смешиваются ранее несоизмеримые элементы высокого и низкого стиля. Но возникает известная проблема самоуничтожения революционной свободы: новый язык быстро обзаводится грамматикой старого образца и начинает диктовать, как правильно склонять и спрягать мысли. **Сверхпереводимость, как бы, всегда исчезающее событие.** Из негативного исторического опыта черпает доказательную силу популярная апофатика «непереводимых» сообществ «друзей», «богемы», «художников», «революционеров», запрещающая в частности думать о политической длительности сверхпереводимости. Образцовая фигура и предел этого хода мысли (стандартный пример нулевых годов) – художник-террорист, причем террорист-самоубийца, которому удается мгновенно объединить все информационные потоки вокруг трагического события, устранить непонимание между людьми, сплотить всех против себя, то есть совершить социальный переворот, но тут же исчезнуть. Складывается интеллектуальный консенсус вокруг того, что сверхпереводимость есть событие исключительное и не способное себя утвердить в мире всеобщей репрезентации.⁹

Между тем, перманентная революция также несомненная часть нашего исторического опыта, но по разным причинам этот опыт в послевоенных логиках различия подвергается табуированию. Самый понятный случай – книга Арендт «Истоки тоталитаризма». Как устроена непереводимость и сверхпереводимость в тоталитарном движении? Возглавляет движение вождь, речь которого обладает абсолютной переводимостью. Любое молвленное слово становится законом государства, любое предсказание непременно сбывается. Между вождем и реальностью нет барьеров, способных противостоять силе слова. Вокруг вождя – «стая» (это не метафора, а *terminus technicus*), интенсивное политическое сообщество, со своим особым эзотерическим волчьим языком, совершенно непереводимым на какой-либо «нормальный» язык. На противоположном конце иерархии – абсолютная непереводимость голой жизни, которой отказано в элементарном праве на слово. Однако абсолютная непереводимость свойственна и

вождю, потому что его «гениальные замыслы» – абсолютная тайна. Чем отличается вождь от жертвы? Тем, что суверен произвольно выбирает между тайной и манифестацией своего слова. Понятны мотивы Арендт, проанализировавшей катастрофические реалии и запретившей себе думать в подобной логике. Сходные причины у Делеза, который ссылается на Арендт в соответствующей главе «Тысячи плато». Однако наш отказ (нас, философов) от мышления в определенной логике не способен ничего изменить: это просто отказ от мысли. Ведь параллельно, на другом континенте, эта логика уже пустила корни, и сегодня мы наблюдаем ее плоды.

Лео Штраус, посещавший вместе с Арендт лекции Хайдеггера в начале 20-х, в конце 30-х годов успевает спастись с Америку, где открывает для себя философский эзотеризм. Это открытие совсем неслучайно оказывается зафиксировано также в письмах к другу, Якобу Кляйну. Штраус занимается невинным, несвоевременным для своей бурной эпохи делом - читает Маймонида. По традиционной классификации Маймонид – средневековый философ и религиозный мыслитель. Для Штрауса в этом определении неустранимое противоречие: философ не может быть верующим. Существует проблема непереводаемости языка философии и религии. Но в условиях религиозной ортодоксии Маймонид не мог говорить на языке философии, ему пришлось говорить на чуждом философии языке религиозного учения. Получается, Маймонид не может говорить вовсе, он вынужден молчать. Однако у нас есть корпус текстов Маймонида. Между теорией и фактами возникает противоречие. Штрауса посещает озарение, он понимает, как Маймонид сумел обойти формальную логику. Разумеется, все дело в логике некоторого различия.¹⁰ Философская мысль обладает отличительной способностью - быть непонятной для всех, кроме философов. В послевоенной работе «Преследование и искусство письма» Штраус описывает открытую им сверхпереводимость философской мысли.

Ничто не способно помешать диалогу философов: они могут жить в разных эпохах, говорить на разных языках, даже на разные, не связанные на первый взгляд с философией темы. Однако отличающая только философов «быстрота мысли» (искомое *различие*) делает их всегда абсолютно переводимыми друг для друга. Философы образуют интенсивное, распределенное во времени сообщество. Это особая темпоральность сверхпереводимости, свидетельствующая о способности философии сохранять себя во времени. Это многое меняет: философ не меньше какого-нибудь террориста потрясает устои, но философ не исчезает, он оставляет после себя сто томов (как Хайдеггер). Философия по Штраусу – это особая способность (*δύναμις*), «динамит» (Штраус пишет, что его открытие – «динамит» с

явной отсылкой к фразе Ницше «Я - динамит»). Это мощь, с утверждающей себя во времени динамикой. И, как всякая мощь, способность к маскировке и интерпретации сокрытого, *философская герменевтика*, может быть использована на пользу или во вред. Философы – по сути «шайка воров». Они не только ищут истину, но и лгут, в частности они используют «ложь во благо». Об этом Штраус пишет в 1952 г., т.е. почти тогда же, когда Хайдеггер стилизует себя как герменевта и задает направление понимания этой «профессии» ссылкой на платоновский «Ион», где герменевт – служитель Гермеса, благочинный «толкователь воли богов» («Ион», 534e). При этом Хайдеггер пользуется свободой, чтобы не дать ссылку на платоновский «Кратил», где Гермес выступает как толкователь воли богов, вестник чужого слова, но также вор, ловкач в речах, покровитель торговли, поскольку *все эти деятельности* подчиняются власти слова (περὶ λόγου δύναντις, 408a). Все эти деятельности – всего лишь «логики», выбор одной из них производит хозяин слова. Эта сюжет мог бы остаться курьезом, если бы не привходящие обстоятельства. Мы видим момент исторической бифуркации двух линий мышления о непереводаемых сообществах и сверхпереводимости: апофатическую (от Батая до Нанси и Бланшо) и катафатическую (Штраус, но также Шмитт и с оговорками Арндт). Момент бифуркации - 30-е годы, возможно, даже место одно – Париж, семинары Кожевникова (?). Разделение условное, подвижное, возможно, его нужно вести по текстам, а не персоналиям, но разделение легитимное: апофатики говорят о невозможности перевода и непереводаемых сообществах; катафатики – о политической силе сверхпереводимости. На деле, это две стороны одной медали, две логики, разными путями подступающие к тому, чтобы сегодня перевести на наш язык греческое предфилософское θαῦμα, «чудо».¹¹

Катафатическая линия не пресеклась, коль скоро сохраняется апофатическая. Действительно, имя Штрауса приобрело скандальную известность в начале нового века. В этом особый символ: Штраус умер в середине 70-х, но смерть философа не помешала его мысли проявить себя спустя тридцать лет. Эта длительность совсем непохожа на темпоральный модус существования террористов-смертников, взорвавших башни-близнецы и исчезнувших навсегда. Но приходится признать роковую закономерность в том, какое именно возмездие последовало за событиями 11 сентября. Дело не просто в нападении на суверенные страны, Афганистан и Ирак, а в том, что в последнем случае был использован явный подлог, «ложь во благо», а придумали это сделать штрауссианцы. Апофатическая логика мгновенно исчезающей сверхпереводимости схлестнулась на глазах изумленного человечества

с катафатической логикой, в которой неперебиваемое, тайна, «греческая девиантность», утверждает себя через все информационные, политические и исторические границы.¹²

Наша ситуация кажется запутанной, она лишена свойственного американской политике театрального распределения актеров по сцене. Но в каком-то смысле наша ситуация более философская. Тайные фантазии континентальной мысли у нас становятся реальностью. У нас востребованы философы-практики, способные не сходя с места, без лишних эмоций переключаться между логиками реальности. Это трудное искусство, которому учат не везде, но в частности на философских факультетах, например, когда проводят элементарное различие между обыденной и философской речью. Базовые навыки философского эзотеризма чрезвычайно востребованы всякой властью. Однако философская герменевтика трудное испытание, хотя бы в профессиональном смысле, она подчиняется своей рабочей экономии. Когда подневольно распоряжаешься несколькими логиками, есть соблазн выбрать один устойчивый дискурс и сэкономить усилия, затрачиваемые на переводческую рутину. И вот наблюдается специфическое профессиональное правдолюбие, желание назвать черное черным: некоторые герменевты отметились стремлением придать всеобщую политическую значимость новому «французскому», языку «элиты», неперебиваемого и непродуваемого сообщества власти. Вместо слова «порча» нам пришлось бы в этом случае говорить «успех», но в этом стремлении была своя трогательная искренность, далекая от политической реальности. Показательно, что эти герменевтические порывы не были оценены, поскольку они ошибочны, дерзновенны: вместо того, чтобы толковать волю богов, герменевт намеревается обучить людей божественной речи. Ни боги, ни власть имущие не испытывают потребности говорить с простыми смертными на одном языке, покуда к их услугам есть хорошие герменевты.

Но что же такое – быть хорошим герменевтом? Может быть, для этого требуется сделать правильный выбор между представленными тезисами? То есть в конечном счете – сделать выбор между переводом как наукой, обладающей предметом и методом, и переводом как искусством, поэзией, служением и дружественностью. Этот выбор кажется судьбоносным, если мы противопоставляем T1, логику репрезентации, апофатической версии T2, логики различия. Действительно, в этом случае нужно выбрать темпоральный модус бытия герменевтики: вечность или мгновение, скромный аддитивный вклад в прогресс науки или эффектная «невозможность перевода». Однако если принимать во внимание феномены

длительной сверхпереводимости, темпоральное различие между двумя логиками исчезает: в режиме настоящего вечное бытие легко принять за вечное возвращение.¹³ Обе логики уже не новость, конъюнктурный приоритет одной из них определяется политическими условиями момента. Выбор требует переводческой свободы от обеих логик. Такой свободой переводчик всегда располагает, если он лучший в своем деле. При этом не важно, понимаем ли мы перевод как науку или искусство. **Лучший всегда свободен:** всегда свободен в логике репрезентации тот, кто переводит правильнее всех, а в логике различий – тот, кто переводит «быстрее» всех. Лучший герменевт свободен, поскольку он суверенно владеет переводом. Это домен его абсолютной власти, в котором он абсолютно волен. Выбор между сформулированными тезисами для такого оказывается второстепенным. Решающее различие сдвигается к вопросу о том, как этой властью и этой волей распоряжаться. Какой это образ жизни? Что за бытие? Что значит лучший (ἄριστος)? Мы, наконец, готовы понять смысл вопроса, который был поставлен очень давно. Этот вопрос вносит решающее политическое различие в режим настоящего, а не просто частный вклад в теорию аргументации или этику.

Что значит *быть лучшим*? Что такое добродетель? τί ἔστιν ἀρετή;¹⁴

¹ В прошлом году состоялась дискуссия на сходную тему, где обнаружилось, что вопрос о роли перевода для философии вполне сводится к некоторому показательному случаю. Примеры бывают разные, но тогда было высказано, не в первый раз, мнение, что русский перевод «Бытия и времени» скрывает от нас «подлинного» Хайдеггера. Бибихину, по иронии судьбы верному хайдеггерианцу, якобы, удалось сделать то, перед чем оказалась бессильна европейская метафизика. Фатальное сокрытие хайдеггеровской «непотаенности» произошло по вине перевода, который, как считается, призван служить раскрытию тайны незнакомого языка.

² Один из лучших текстов по истории советской философии 70-х годов, очерк «Для служебного пользования» Бибихина, содержит необходимые ключи для понимания уникальной ситуации, сложившейся на излете советской власти, когда перевод приобретает почти сакральное значение. Перевод «Бытия и времени» призван был стать продолжением или даже кульминацией эпохи «высокого перевода», но стал ее предельной точкой и завершением. В очерке Бибихина есть биографический момент, позволяющий вернуться к общеевропейской ситуации. Это частное, которое неожиданно оказывается шире своего непосредственного окружения. Не только вопреки «железному занавесу», но даже против течения чахлого ручейка переводов под грифом ДСП, транслировавших европейскую мысль в Советский Союз, автор очерка бросает совершенно неоправданный взгляд *отсюда туда*, осмеливаясь сопоставлять философские достижения. Он невольно сравнивает себя с своим европейским сверстником (Франсуа Федье, на три года старший) и предсказуемо констатирует свое отставание в философии. Но все равно не может не посматривать в ту сторону, а посматривая не может не переводить себя в реалии мира, говорящего на языке философской свободы. (Пусть

слово «перевод» пока употребляется без объяснений, пролептически). Еще более странно, что в этот момент автор говорит о себе во втором числе («вы следили за ним ниоткуда, из темноты»), как бы допуская еще одну неловкость: автор вовлекает читателя в свой темный заговор. Но сегодня, в ретроспективе, этот нескромный взгляд поверх двух занавесов: железного и профессионального, кажется, чуть ли не единственным, что выстояло и уцелело. Советский Союз распался, переводы для ионионовских сборников пришлось переделывать для широкой перестроечной аудитории. Между тем, единая европейская философия *той эпохи* говорит на одном языке, игнорируя запреты и «занавесы». Кажется, что между сегодня и тогда больше различий, чем между Москвой и Парижем в 70-е. Это иллюзия, которую нам внушает *режим настоящего*, определяющий для каждой эпохи. В этом режиме, дерзко перескакивающим политические границы, легитимируются поколенческие влияния. Все живущие в настоящем словно обречены на то, чтобы заниматься общим делом.

³ Деррида Ж. Письмо к японскому другу / Пер. А. Гараджи // Вопросы Философии, № 4, 1992.

⁴ Суть юридической коллизии изложена (односторонне) в предисловии к изданию: *The Heidegger controversy: a critical reader*. MIT Press, 1993.

⁵ Возникает известная «линия убегания» интенсивного различия. Деррида пишет: «Всякое предложение типа "деконструкция есть X" или "деконструкция не есть X" априори не обладает правильностью, скажем — оно по меньшей мере ложно.» - Ложно здесь само предположение, что деконструкцию можно зажать в тиски выбора X или не-X.

⁶ Это еще один дружеский жест по отношению к адресату: автор рассчитывает, что другу достаточно слабого намека, *полуслова*, для понимания.

⁷ Хайдеггер М. Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим / Пер. В. Бибихина // Хайдеггер М. *Время и бытие*. М.: Республика, 1993.

⁸ «Опасность наших разговоров таилась в самом языке» (там же).

⁹ Этот консенсус опасен, потому что маскирует размах угрозы локальной точечностью. Возникает двойная ложь: серийное событие преподносится как неповторимое, а эфемерность этого события используется как предлог для репрессии размышлений о его длительности.

¹⁰ «Существенный момент в технике [письма] Маймонида – это, конечно, то, что он говорит все совершенно открыто, словно [нарочно] для того, чтобы никакому идиоту не пришлось в голову искать [в его словах скрытый смысл].» (Цит. по: *Lampert L. Strauss's Recovery of Esotericism // The Cambridge companion to Leo Strauss / Ed. by Smith Steven B. 2009. P. 64*).

¹¹ Предфилософское, потому что с θαυμάζω, с удивления, философия каждый раз впервые начинается.

¹² Мы сталкиваемся с бинарностью логического выбора, от которой, казалось бы, хотели уйти: X или не-X. Выбор, который сделала Америка, показывает, как сложно вырваться из плена определенной логики, найти подлинное различие с режимом настоящего. Ведь фигура спасителя нации Обамы устроена как символический синтез непереводаемости со сверхпереводимостью: с одной стороны, это представитель тех, кто раньше жил в тайне, поскольку был лишен слова, с другой стороны, это человек, способный донести то, что раньше оставалось невысказанным, сразу до всего мира. Такой человек обладает огромной властью свободного превращения тайны в общезначимость и обратно.

¹³ См. *Делез Ж. Платон и симулякр // Логика смысла*.

¹⁴ Ср. *Платон. Протагор*, 361cd.